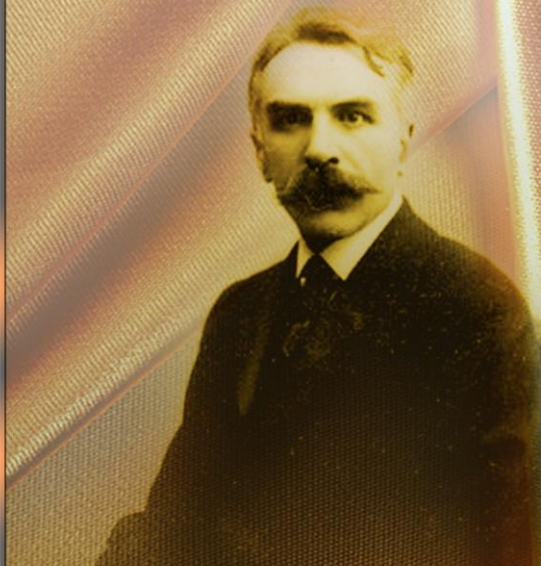




С. А. Андреевский



**Братья
Карамазовы**



Аннотация

«Братья Карамазовы» — критическая статья известного русского юриста, поэта и публициста, Сергея Аркадьевича Андреевского (1848–1918). Автор детально рассматривает роман классика русской литературы, Ф.М.Достоевского. По утверждению Андреевского, в «Братьях Карамазовых» объединились две главных линии повествования — драматическая и философски-религиозная. Галерея самобытных, ярких персонажей, уникальный стиль и глубокая пронизательность автора, дар писательского пророчества сделали роман одним из величайших явлений русской литературы. Очерк Андреевского входит в число лучших критических статей о творчестве Ф.М.Достоевского.

Сергей Андреевский

Братья Карамазовы¹

I

Въ концѣ семидесятихъ годовъ, въ «Русскомъ Вѣстникѣ», появились одинъ за другимъ, два самыхъ значительныхъ русскихъ романа послѣдняго времени: «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы». И эти романы, и авторы ихъ — Толстой и Достоевскій — вызываютъ невольное сравненіе. Оба произведенія вышли съ эпиграфами изъ священнаго писанія; оба — принадлежать перу великихъ мастеровъ, которые не столько цѣнили въ себѣ свой высокій художественный даръ, сколько — призваніе мыслителей. Притомъ въ третьей книгѣ «Анны Карениной» Левинъ поднимаетъ тѣ самые общественные и религіозные вопросы, которымъ посвящены «Братья Карамазовы»: въ шестой части, въ разговорѣ съ Облонскимъ на

¹ Настоящій очеркъ задуманъ мною, какъ путеводитель по «братьямъ Карамазовымъ», въ виду того, что въ то время еще немногіе осилили весь этотъ романъ. Мой этюдъ появился за десять слишкомъ лѣтъ до послѣднихъ работъ о Толстомъ и Достоевскомъ Д. С. Мережковскаго и за годъ ранѣ первой печатной статьи В. В. Розанова «Великій Инквизиторъ».

охотѣ, Левинъ терзается мыслью, что настоящее устройство общества несправедливо (глава XI), а затѣмъ въ послѣдней части (главы VII и XIX) мучится невѣріемъ и, послѣ многихъ колебаній, приходитъ къ выводу, что «несомнѣнное проявленіе Божества въ законахъ добра, которые явлены міру откровеніемъ и которые онъ чувствуетъ въ себѣ». Послѣдующее развитіе религіи Льва Толстого всѣмъ извѣстно. Дѣйствительная оцѣнка величія Льва Толстого, какъ писателя, сдѣлана сравнительно недавно: еще, когда печаталась «Анна Каренина», журнальные рецензенты довольно развязно жаловались на растянутость романа и на возможность продолжать писаніе въ такомъ родѣ до бесконечности; а о времени выхода «Войны и Міра» ужъ и говорить нечего, — тогда вышучивали новые психологическіе приемы Толстого самымъ безцеремоннымъ образомъ. Все это въ порядкѣ вещей: все значительное оцѣнивается не сразу. Но въ настоящее время и критика, и читающій міръ расквитались съ геніальнымъ писателемъ, — и настала, намъ кажется, минута обратиться къ другому великому поэту-мыслителю, Достоевскому, хотя и внесенному въ пантеонъ литературы какимъ-то безмолвнымъ общимъ признаніемъ, но до сихъ поръ оставленному критикой почти безъ всякаго комментарія и —

стыдно сознаться — даже не вполне прочитанному людьми, наиболее близкими к литературе. Обыкновенно говорят, что у Достоевского — свой исключительный, болезненный мир; что его откровенный мистицизм не внушает доверия к его философии, и что, наконец, нагромождение невероятных подробностей, ни с чем несообразное поведение и в особенности — разговоры его действующих лиц, всегда говорящих его собственным многоречивым и раздражающим языком — все это весьма скоро лишает читателя терпения — и таким образом роман остается недочитанным. Все это отчасти справедливо. Но тем более замечательно, что и эти недостатки не помешали Достоевскому оставить такое имя! Мы имеем в нем писателя почти единственного в иных отношениях во всемирной литературе, и потому нам невозможно отказываться от его изучения, под предлогом странности или загадочности его произведений.

«Братья Карамазовы», по нашему мнению, — самое значительное произведение Достоевского, и мы желали бы сделать попытку его изучения. Каждый, знакомый со всеми романами Достоевского, конечно, знает, что в них обыкновенно лучше всего — начало. Первые главы «Идиота», вся первая треть «Преступления и Наказания» — точно писаны другим мастером.

Все увлекательно, стройно, послѣдовательно. Затѣмъ творческій матеріаль какъ-то вдругъ расплзается, дѣйствіе ослабѣваетъ, выведенныя лица начинаютъ предаваться какимъ-то менѣе и менѣе понятнымъ поступкамъ и разговорамъ — и тогда для читателя наступаетъ настоящее испытаніе... книга читается съ недоумѣніемъ и часто со скукою, въ надеждѣ встрѣтить новыя наслажденія гдѣ-нибудь случайно, впереди, но эти надежды вознаграждаются все рѣже и рѣже, именно по мѣрѣ приближенія къ концу романа. Въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» — надо предварить — этотъ искусъ начинается довольно скоро: съ пріѣзда старика Карамазова съ Міусовымъ въ монастырь, къ старцу Зосимѣ, ужъ завязывается утомительный разговоръ и разыгрывается сцена, вовсе даже не претендующая на правдоподобіе. Объ этой манерѣ Достоевскаго не церемониться съ читателемъ скажемъ послѣ. Теперь же считаемъ нужнымъ успокоить, что ни это первое препятствіе, ни другія въ томъ же родѣ, какія будутъ встрѣчаться дальше, не должны смущать читателя, потому что въ этомъ романѣ интересъ и богатство художественныхъ прелестей не оскудѣваютъ до самой послѣдней строки. Сокровища разсыпаны здѣсь на каждомъ шагу и притомъ такъ случайно, что пропускать что-либо было бы крайне рискованно. Въ разговорахъ сплошь и рядомъ попадаются не

только геніальнѣйшія мысли, афоризмы, обобщенія, — рѣчи, полныя самаго потрясающаго паѳоса, — но тутъ же, мимоходомъ, вставлены легенды, анекдоты, приключенія, цѣлые рассказы, изъ которыхъ многіе, по своей глубинѣ и разительности, могли бы служить темою отдѣльныхъ большихъ произведеній. Всѣ фигуры въ романѣ, самыя эпизодическія — а ихъ здѣсь множество — благодаря ли высшему развитію таланта писателя, или вслѣдствіе какой-то особенно счастливой полосы вдохновенія — всѣ, до мельчайшихъ, обрисованы въ совершенно законченные оригинальные образы: слуга Карамазова, Григорій, Лизавета Смердящая, помѣщикъ Міусовъ, племянникъ его Калгановъ, приживальщикъ Максимовъ, г-жа Хохлова, ея дочь Лиза, капитанъ Мочалка съ семействомъ, Илюшечка, Коля Красоткинъ, семинаристъ-карьеристъ Ракитинъ, прокуроръ, слѣдователь и адвокатъ, поляки Подвысоцкій и Врублевскій, содержатель постоялаго двора Трифонъ Борлевичъ, купецъ Самсоновъ, отецъ Ѳерапонтъ, даже — мужикъ Лягавый, который встрѣчается въ рассказѣ всего одинъ разъ, спитъ пьяный и затѣмъ произноситъ нѣсколько словъ — всѣ эти лица остаются въ памяти съ своей особенною фізіономією. Я не говорю уже о главныхъ лицахъ, между которыми есть фигуры

колоссальныя по глубинѣ замысла и выполненія. Въ общемъ романъ представляетъ грандіознѣйшую драму, полную движенія и страшныхъ коллизій. Достоевскій, какъ извѣстно, былъ писатель «идейный» по преимуществу. Какъ свидѣтельствуеъ г. Аверкіевъ, Ѳедоръ Михайловичъ самъ говорилъ ему, что при созданіи художественнаго произведенія, ему всего важнѣе было напасть на удачную идею, подъ которою онъ разумѣлъ — отвлеченіе, выведенное изъ наблюденія цѣлаго рода однородныхъ фактовъ, изъ изученія даннаго явленія общественной жизни. Поэтому, прежде, чѣмъ перейти къ художественному анализу. «Братьевъ Карамазовыхъ», слѣдуетъ остановиться на идеѣ романа. Въ этомъ произведеніи Достоевскій задумалъ большую задачу. Онъ хотѣлъ показать, что необузданная жадность людей къ благамъ жизни можетъ найти себѣ сдерживающій стимуль только въ одной вѣрѣ; что вѣра не только нужна человѣчеству практически, но и неизбѣжна по свойствамъ его внутренней природы и что ей въ концѣ концовъ всегда будетъ принадлежать побѣда надъ всякими вѣянїями, надъ всякими попытками людей уйти отъ ея роковой необходимости. Здѣсь именно весьма близко соприкасаются Левъ Толстой и Достоевскій и — что всего замѣчательнѣе — соприкасаются во времени, когда для нихъ обоихъ

вопросъ о вѣрѣ сдѣлался настоящимъ. Достоевскій всегда и неизмѣнно, всю свою жизнь, былъ вѣрующимъ; но высказать свою вѣру вполне и окончательно, сдѣлать ее, такъ сказать, дѣйствующимъ лицомъ своего романа онъ нашелъ необходимымъ именно въ то самое время, когда и Левъ Толстой, дописавъ «Анну Каренину» съ какимъ-то раздумьемъ надъ тѣми же вопросами вѣры, — вслѣдъ затѣмъ уже ушелъ въ нихъ безвозвратно. Это было именно въ самомъ концѣ семидесятыхъ годовъ, когда матеріализмъ былъ гораздо болѣе въ модѣ и въ силѣ, нежели теперь. Волна уже будто начала опять спадать, чтобы подняться, быть можетъ, со временемъ снова, — но тогда мы находились на самомъ ея гребнѣ. Устами прокурора въ дѣлѣ Карамазова, Достоевскій, обозрѣвая то время, говорилъ: «Мрачныя дѣла почти перестали для насъ быть ужасными! Гдѣ же причины нашего равнодушія, нашего чуть тепленькаго отношенія къ такимъ дѣламъ, къ такимъ знаменіямъ времени, пророчествующимъ намъ незавидную будущность? Въ цинизмѣ ли нашемъ, въ раннемъ ли истощеніи ума и воображенія столь молодого еще нашего общества, но столь безвременно одряхлѣвшаго? Въ расшатаныхъ ли до основанія нравственныхъ началахъ нашихъ, или въ томъ, наконецъ, что этихъ нравственныхъ началъ, можетъ быть, у насъ

совѣмъ даже и не имѣется. И что же мы читаемъ почти повседневно? Вотъ тамъ молодой блестящій офицеръ высшаго общества, едва начинающій свою жизнь и карьеру, подло, въ тиши, безо всякаго угрызенія совѣсти зарѣзываетъ мелкаго чиновника, отчасти бывшаго своего благодѣтеля, и служанку его, чтобы рохитить свой долговой документъ, а вмѣстѣ и остальные денежки чиновника: пригодится-де для великосвѣтскихъ моихъ удовольствій и для карьеры моей впереди. Зарѣзавъ обоихъ, уходитъ, подложивъ обоимъ мертвецамъ подъ головы подушки. Тамъ, молодой герой, обвѣшанный крестами за храбрость, разбойнически умерщвляетъ на большой дорогѣ мать своего вождя и благодѣтеля и, подговаривая своихъ товарищей, увѣряетъ, что она любить его, какъ родного сына и потому послѣдуетъ всѣмъ его совѣтамъ и не приметъ предосторожностей. Пусть это извергъ, но я теперь, въ наше время, не смѣю уже сказать, что это только единичный извергъ. Другой и не зарѣжетъ, но подумаетъ и почувствуетъ точно такъ же, какъ онъ, въ душѣ своей безчестенъ точно такъ же, какъ онъ. Въ тиши, наединѣ съ своею совѣстью, можетъ быть спрашиваетъ себя — да что такое честь и не предразсудокъ ли кровь? Можетъ быть, крикнуть противъ меня и скажутъ, что я человѣкъ болѣзненный, истерическій, клевету, чудовищно брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть — и, Боже,

какъ бы я былъ радъ тому первый! О, не вѣрьте мнѣ, считайте меня за больного, но все-таки запомните слова мои: вѣдь если хоть десятая, хоть двадцатая доля въ словахъ моихъ правда, — то вѣдь и тогда ужасно! Посмотрите, господа, посмотрите, какъ у насъ застрѣливаются молодые люди, о, безъ малѣйшихъ гамлетовскихъ вопросовъ о томъ, что будетъ тамъ? безъ признаковъ этихъ вопросовъ, какъ будто эта статья о духѣ нашемъ и о всемъ, что ждетъ насъ за гробомъ, давно похерена въ ихъ природѣ, похоронена и пескомъ засыпана». Этотъ характерный отрывокъ находится почти въ концѣ книги, но онъ могъ бы составить предисловіе къ роману. Въ немъ именно содержится мотивъ произведенія. Въ этихъ сильныхъ строкахъ чувствуется ароматъ эпохи — то состояніе нравовъ, которое вооружило и мыслителя, и художника: перваго — на горячую проповѣдь, а втораго — на созданіе глубокихъ трагическихъ образовъ. Подобно тому, какъ въ «Войнѣ и Мирѣ» философія исторіи чередуется съ фабулой романа, такъ и здѣсь съ той же фабулой чередуется философія религіи. Этотъ философскій элементъ «Братьевъ Карамазовыхъ» такъ обширенъ и глубокъ, что всесторонній разборъ его могъ бы породить цѣлую литературу. Вдаваться въ такой разборъ мы не станемъ, да и не имѣемъ къ тому подготовки. Но этотъ религіозно-философскій элементъ играетъ

такую видную роль въ романѣ, такъ близко соприкасается съ дѣйствующими лицами и, наконецъ, содержитъ въ себѣ столько оригинальности, глубины и поэзіи, что миновать его невозможно.

II

Религіозное міровоззрѣніе и общественные идеалы Достоевскаго, выраженные въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», могутъ быть предметомъ большихъ споровъ. Здѣсь мыслитель и поэтъ дѣйствовали въ такой близости одинъ отъ другого, что рѣшительно затрудняешься опредѣлить: что слѣдуетъ приписать разуму и что вдохновенію. Притомъ Достоевскій былъ такой искусный діалектикъ, что опять-таки иногда весьма трудно бываетъ сказать, гдѣ онъ убѣдительно: тамъ ли, гдѣ онъ побиваетъ свою собственную теорію, или тамъ, гдѣ онъ ее проводитъ и отстаиваетъ? Да и самыя теоріи его, исходя изъ сердца, требуютъ, для усвоенія ихъ, скорѣе нервной чуткости читателя, нежели приемовъ логическихъ. Поэтому съ Достоевскимъ, въ его литературной карьерѣ, случались замѣчательные курьезы: тѣ общественныя партіи, съ которыми онъ, быть можетъ, въ глубинѣ совершенно расходился, считали его своимъ пророкомъ и, подъ прикрытіемъ

этого недоразумѣнія, Достоевскому удавалось высказывать въ печати такія вещи по части нравственности и религіи, которыя у всякаго другого писателя были бы сочтены безусловно нецензурными. Напротивъ того, партіи, съ которыми Достоевскій, въ своихъ отдаленныхъ идеалахъ, быть можетъ, вполнѣ сходился — всегда считали его своимъ противникомъ. Въ сущности, единственное, что было драгоцѣннаго для Достоевскаго, это — защита гуманности и вѣры въ безсмертіе души. Внѣ этой вѣры, по своему мистическому темпераменту, онъ не видѣлъ и не находилъ никакого спасенія. Такъ называемый «европеизмъ» и общественные перевороты пугали его исключительно съ точки зрѣнія безвѣрія, насилія и кровопролитій. Общественные же идеалы Достоевскаго были глубоко-христіанскіе, — самой первой эпохи ученія Христа, когда адепты этого ученія скрывались въ катакомбахъ отъ преслѣдованій римскихъ императоровъ. Въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», въ разговорѣ между Иваномъ и Алешей, Достоевскій помѣстилъ удивительную религіозную поэму въ прозѣ «Великій Инквизиторъ». Поэма эта очень загадочна. Дѣйствіе происходитъ въ Испаніи, въ Севильѣ, въ самое страшное время инквизиціи, когда въ странѣ ежедневно сжигали на кострахъ еретиковъ. И вотъ, въ эту самую эпоху, на

слѣдующій день послѣ какого-то великолѣпнаго «аутодафе», при которомъ, въ присутствіи короля, двора, рыцарей, кардиналовъ и «прелестнѣйшихъ придворныхъ дамъ, была сожжена цѣлая сотня еретиковъ», — Христось еще разъ показывается среди людей, на улицахъ Севильи, въ томъ самомъ образѣ, въ которомъ Онъ ходилъ три года между людьми пятнадцать вѣковъ тому назадъ. Народъ непобѣдимою силою стремится къ Нему, окружаетъ Его, нарастаетъ кругомъ Него, слѣдуетъ за Нимъ. Какъ и прежде, изъ одежды Его исходитъ цѣлящая сила. Онъ возвращаетъ зрѣніе слѣпородженному, на паперти Севильскаго собора, въ открытомъ бѣломъ гробикѣ, воскрешаетъ семилѣтнюю дѣвочку... И вдругъ, по площади собора проходитъ самъ кардиналь, великій инквизиторъ. Это девяностолѣтній старикъ съ изсохшимъ лицомъ, со впавшими глазами изъ которыхъ еще, какъ огненная искорка, свѣтится блескъ. За нимъ, въ извѣстномъ разстояніи, слѣдуютъ мрачные помощники и рабы его и священная стража. Онъ приказываетъ взять Христа, и до того послушенъ былъ ему народъ, что Христа уводятъ и сажаютъ въ тюрьму. Ночью великій инквизиторъ одинъ, со свѣтильникомъ въ рукѣ, посѣщаетъ плѣнника. Здѣсь въ глубокой и сильной рѣчи, великій инквизиторъ высказываетъ Христу, почему онъ не можетъ допустить Его вторичнаго пребыванія на землѣ и почему онъ

завтра же велить сжечь Его на костръ — и завтра же, прибавляет онъ: «Ты увидишь, какъ это послушное стадо людей бросится подгрѣвать горячіе угли къ костру Твоему». Причина въ томъ, что ученіе Христа, дѣйствительно божественное, было, по мнѣнію великаго инквизитора, не подь силу всему тысячемилліонному человѣчеству, а было доступно развѣ только нѣсколькимъ тысячамъ избранныхъ. Христось желаль сдѣлать людей слишкомъ свободными. «Но нѣтъ заботы безпрерывнѣе и мучительнѣе для человѣка, какъ, оставшись свободнымъ, сыскать поскорѣе того, предь кѣмъ преклониться». Христось отвергнуль въ пустынѣ искушеніе сатаны. А между тѣмъ сатана («страшный и умный духъ») предлагаль Христу именно все то, что могло соединить вокругъ него всѣхъ людей вмѣстѣ, въ общемъ поклоненіи. Это было, во-первыхъ, знамя хлѣба земного, отвергнутое во имя той же свободы и хлѣба небеснаго. Во-вторыхъ: чудо, тайна и авторитеть. Христось и этого не приняль. Онъ жаждалъ свободной вѣры, а не чудесной. Жаждалъ свободной любви, а не рабства невольника предь могуществомъ, разь навсегда его ужаснувшимъ. Онъ отвергнуль и послѣдній дарь сатаны, показавшаго Ему царства земныя: Римъ и мечь Кесаря. Отреченіе Христа было истиннымъ подвигомъ Бога. «Но мы», говоритъ «великій

инквизиторъ», давно съ нимъ, т. е. съ сатаною; «мы исправили подвигъ Твой и основали его на чудѣ, тайнѣ и авторитетѣ. Мы дали людямъ тихое, смиренное счастье слабосильныхъ существъ, какими они и созданы. Мы заставимъ ихъ работать, но въ свободные часы устроимъ имъ жизнь, какъ дѣтскую игру съ дѣтскими пѣснями, хоромъ, съ невинными плясками. О, мы разрѣшимъ имъ грѣхъ, они слабы и безсильны и они будутъ любить насъ, какъ дѣти, за то, что мы имъ позволяемъ грѣшить. Мы скажемъ имъ, что всякій грѣхъ будетъ искупленъ, если сдѣланъ будетъ съ нашего позволенія; позволяемъ же имъ грѣшить, потому что ихъ любимъ, наказаніе же за грѣхи, такъ и быть, возьмемъ на себя. Возьмемъ на себя, а насъ они будутъ обожать. Самыя мучительныя тайны ихъ совѣсти — все, все понесутъ они намъ, и мы все разрѣшимъ. И всѣ будутъ счастливы, только мы, хранящіе тайну, будемъ несчастливы. Тихо умрутъ они и за гробомъ обрящутъ лишь смерть, но мы сохранимъ секретъ и для ихъ же счастья будемъ манить ихъ наградою небесною и вѣчною... Ты пришелъ намъ мѣшать... Завтра сожгу Тебя. Dixi!». Узникъ все слушаетъ инквизитора, проникновенно и тихо смотритъ ему прямо въ глаза и видимо не желаетъ ничего возражать. И вдругъ Онъ приближается къ старику и тихо цѣлуетъ Его въ безкровныя девяностолѣтнія уста. Въ этомъ и весь

отвѣтъ. Старикъ вздрагиваетъ. Что-то шевельнулось въ концахъ губъ его; онъ идетъ къ двери, отворяетъ ее и говоритъ Христу: ступай и не приходи болѣе... не приходи вовсе... никогда, никогда! И выпускаетъ Его на темныя стогны града. Плѣнникъ уходитъ — поцѣлуй горить на сердцѣ великаго инквизитора, но старикъ остается въ прежней идеѣ. Этимъ оканчивается поэма.

Вотъ лучший образецъ одной изъ тѣхъ странныхъ загадокъ, которыя во множествѣ разсѣяны въ произведеніяхъ Достоевскаго. На чьей сторонѣ авторъ? На сторонѣ Христа, — или на сторонѣ великаго инквизитора? Что имѣла въ виду доказать поэма: несомнѣнную божественность ученія Христа и кощунственныя продѣлки Его земныхъ преемниковъ — или, наоборотъ, — пагубную фантастичность Христова ученія и глубокое человѣколюбіе земныхъ пастырей? Тонкая ли это защита церковной политики или смѣлое разоблаченіе ея дерзости? Въ самомъ романѣ Алеша Карамазовъ, которому братъ Иванъ разсказалъ эту поэму, сперва восклицаетъ: «поэма твоя есть хвала Іисусу, а не хула... какъ ты хотѣлъ «того», а потомъ говоритъ: «Инквизиторъ твой не вѣруетъ въ Бога, вотъ и его секретъ!» — «Хотя бы и такъ! Наконецъ-то ты догадался», отвѣчаетъ Иванъ.

Но вѣдь если великій инквизиторъ не вѣруетъ

въ Бога, то и весь его церковный строй есть ловушка... Вдумывались ли во всѣ эти недоумѣнія покровители Достоевскаго, и хорошо ли умѣли постигать этого мистика его противники?

Съ тою же глубокою проницательностью и страстностью Достоевскій дебатируетъ и вопросъ о самомъ существованіи Бога вообще и о гармоніи міра. Въ роли скептика выступаетъ все тотъ же Мефистофель, — Иванъ Карамазовъ. Онъ молодъ и образованъ. Онъ много думалъ «о вѣковѣчныхъ вопросахъ, о которыхъ лишь и толкуетъ, и думаетъ теперь вся молодая Россія», тогда какъ старики ушли въ практическіе вопросы. «Для настоящихъ русскихъ», замѣчаетъ Достоевскій, — вопросы о томъ: «есть ли Богъ и есть ли безсмертіе, — первые вопросы и прежде всего». И вотъ Иванъ Карамазовъ пришелъ къ позитивизму. «У меня умъ эвклидовскій, земной, а потому, гдѣ мнѣ рѣшить, что не отъ міра сего». Онъ не принимаетъ міровой гармоніи, потому что никогда не могъ понять, какъ можно любить своихъ ближнихъ. «Именно ближнихъ», говоритъ онъ, — по-моему, и невозможно любить, а развѣ лишь дальнихъ. Чтобы полюбить человѣка, надо, чтобъ тотъ спрятался, а чуть лишь покажетъ лицо свое — пропала любовь». Человѣкъ рѣдко согласится признать другого за страдальца, потому, напримѣръ, что у этого другого окажется глупое лицо, или что отъ него дурно

пахнетъ, или что тотъ когда-то отдалить ему ногу. Иногда человекъ не согласится признать въ другомъ страдальца за какую-нибудь идею, увидавъ, на примѣръ, что у него вовсе не то лицо, какое, по фантазіи его, должно быть у человека, страдающаго за такую именно идею. Нищіе, по мнѣнію Ивана, особенно благородные нищіе, должны бы были наружу никогда не показываться, а просить милостыню черезъ газеты. «Отвлеченно можно еще любить ближняго и даже издали, но вблизи почти никогда. Если бы все было какъ на сценѣ, въ балетѣ, гдѣ нищіе, когда они появляются, приходятъ въ шелковыхъ лохмотьяхъ и рваныхъ кружевахъ и просятъ милостыню, граціозно танцуя, ну, тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить». Законнѣе всего, казалось бы, любить дѣтей; они страшно отстоятъ отъ людей: совсѣмъ будто другое существо и съ другой природой. Но какъ же поступаютъ на свѣтѣ съ дѣтьми? Иванъ приводитъ потрясающіе примѣры звѣрской жестокости. Особенно страшны два случая. Вотъ эпизодъ изъ болгарской войны: «Грудной младенчикъ на рукахъ трепещущей матери, кругомъ вошедшіе турки. У нихъ затѣялась веселая штука: они ласкаютъ младенца, смѣются, чтобъ его разсмѣшить; имъ удается, младенецъ разсмѣялся. Въ эту минуту турокъ наводитъ на него пистолетъ въ четырехъ вершкахъ разстоянія отъ его